

ЭКЦЕСС

Рассказ декламатора

Вот и думаю теперь: а может, я правда великий актер — масштаба Сары Бернар и Мочалова, или меня просто заклинило, заклинило, и это признак непрофессионализма?

А заклинило меня на улице Некрасова, напротив Некрасовского рынка, который сейчас опять Мальцевский, в Некрасовском саду, у ног самого Некрасова.

Была дата. Со дня ли рождения или смерти, я и сам не знал точно, когда соглашался. Подрядился за скромное вознаграждение прочитать что-нибудь из классика задушевное. Я и на Деда Мороза при иных обстоятельствах и для иного зрителя всегда соглашаюсь с радостью. Вот и до благословенных елок оставалось тогда менее трех недель. Правда, про эту зиму с начала осени говорили так: зимы не будет, — и первые зимние дни не обещали ни морозов, ни снега.

Пришел я пораньше, с тем чтобы хватило времени привести широту своего сознания в соответствие с погодой и настроением. Как того требует великая традиция русской школы актерского мастерства. А если кто скажет, что великая традиция русской школы актерского мастерства не требует этого, я спорить не буду, только назову святые имена, говорящие за себя, и сошлюсь на личный опыт, а более на чутье: вам же, начинающие актеры, Фортинбраса я бы рекомендовал играть исключительно на трезвую голову, а если вы готовитесь предъявиться публике в образе Мармеладова или продекламировать энергозатратное стихотворение Некрасова «Похороны», все зависит от вас, — некоторым чуть-чуть не помешало бы, но только чуть-чуть.

У входа в сад встретил Викторину, администратора, это она меня пригласила на мероприятие у памятника. Вика мне дала бджик участника некрасовской конференции и позвала после церемонии на фуршет, хотя я никакого отношения к литературоведам не имел, не участвовал в их вчерашних и сегодняшних семинарах и все, что собирался сделать, — прочесть у памятника стихотворение «Похороны», отвечающее пожеланиям приглашающей стороны. С этими трогательными стихами я выступал уже раз двести, возможно, пятьсот, возможно, тысячу. Просто один из моих номеров. Как бы концертных.

Сергей Носов — прозаик и драматург. Родился в 1957 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор семи романов, нескольких книг малой прозы, сборников эссе в жанре «Другое краеведение», а также многочисленных пьес, книги стихотворений «Сторожение», прозаических пересказов «Илиады» и «Одиссеи». Печатался в журналах «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Знамя» и др. Премия «Национальный бестселлер» (2015) за роман «Фигурные скобки». Литературная премия им. Н. В. Гоголя (2006) за роман «Грачи улетели». Театральная премия им. А. Ю. Толубеева «за художественное исследование природы драматургического абсурда». Переводился на итальянский, немецкий, китайский, хинди, румынский, сербохорватский и другие языки. Живет в Санкт-Петербурге.

Сказал Вике: «Скоро приду» — и поспешил вдоль по улице Некрасова в сторону Литейного, чтобы найти искомое. К сожалению, рюмочных поблизости не было, а хотелось попроще. Формату потребления с минимальными моими потребностями навороченные бары здесь отвечали неидеально. Поначалу я их игнорировал, а когда подумал, что такими темпами добегу до гранитной головы Маяковского, велел себе тормознуть; случилось это на углу Некрасова и Радищева. Зашел.

Не совсем то, но выбирать некогда.

Там уже трое этих сидели, узнал их по беджикам, повешенным на шею. А они по тому же признаку узнали меня: увидели сразу, что свой. Один из них, с длинной седой бородой, пригласил жестом руки подсесть; у них графинчик стоял на столе, лежали бутерброды на блюдечках. До фуршета дотерпеть сил у них не было; я их понимаю. Взял себе у стойки нелепые восемьдесят, подсел к ним, представился. Почему «нелепые»? Потому что нелепые. Потому что ни то ни се. И это называется двойная? Если одинарная меньше пятидесяти, это то же самое, что вообще ничего. А два раза этого ничего — и не пятьдесят, и не сто в итоге, а какие-то нелепые восемьдесят. В этом отношении я принципиальный антизападник.

Литературоведы, узнав, что я актер и намерен прочесть на их торжественном мероприятии стихотворение «Похороны», очень обрадовались и похвалили меня за выбор, правда, один сначала засомневался, правильно ли читать про похороны, если тут день рождения, но я ответил ему, что, во-первых, спасибо, я и не знал, что он родился, знал, что родился и умер зимой, но не помнил, что сначала — умер или родился, а во-вторых, какая разница — не самого же Некрасова хоронят в его «Похоронах», там ведь погребают чужака, застрелившего себя из ружья на чужой стороне — так? — и те двое меня поддержали, сказали, что да, все так, это очень некрасовское стихотворение, одно из лучших и что, конечно, уместнее будет про это, чем про Музу, которую бьют кнутом.

На самом деле, когда я пришел, они говорили о Хармсе. Вспоминали «Случаи», вернее, как я понял из дальнейшего разговора, один случай — известный под названием «Вываливающиеся старухи». Там старухи, как всем, конечно, известно, выпали из окон от чрезмерного любопытства одна за другой; седобородый утверждал, что этот дом должен быть где-то поблизости, потому что в тексте упомянут Мальцевский рынок. Сомневающийся опять засомневался: а не Сенной ли? Ему его же коллеги говорили: «Мальцевский», а он, даром что некрасовед, упрямылся: «Говорю вам, Сенной!» Тут уже я не выдержал: «Конечно, Мальцевский» — и прочел им этот короткий «случай» наизусть, менее семидесяти слов в общей сложности, а я когда-то играл моноспектакль по Хармсу. Финал там такой: «Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль». Литературоведы еще больше обрадовались знакомству со мной, тут-то мы вместе и выпили, а который был в квадратных очках, сказал, что в отношении слепого этот «случай» вполне правдоподобен: действительно могли подарить какому-нибудь нищему слепому вязаную шаль, что должно было бы запомниться обитателям и посетителям рынка, а до Хармса, жившего неподалеку, на улице Маяковского, просто дошел слух. Отсюда и безличное «говорят», отражающее реальный бытовой случай, зафиксированный Хармсом: о том действительно говорили. Седобородый согласился, подтвердив, что, по воспоминаниям современников, Мальцевский рынок просто кишел карманниками и нищими. Некрасоведы стали фантазировать. Один предположил, что потомок того нищего, сам уже дед, мог бы и сейчас жить в каком-нибудь из этих домов, и вот было бы здорово, если бы

у него сохранилась та вязаная шаль, да пусть хотя бы остатки ее, недоеденные молью («вот бы пригласить его на нашу конференцию по Некрасову!»). Другой предположил, что раз потомок живет в квартире, принадлежащей тому слепцу, значит, тот нищий слепец был не просто нищ и слеп, но сильно отличался от прочих нищих. А не работал ли он в НКВД? Тут они все ухватились за эту идею. Получить в дар ценную вещь — молоток, мухобойку, вязаную шаль — у него было возможностей больше, чем у других, потому что этот слепой не стоял у входа, как все, а постоянно бродил вдоль прилавков — к этому его обязывала служба: он смотрел, нет ли здесь японских шпионов. Так он не был слепым, он только прикидывался!.. Он был мнимослепым!.. Договорились до того, что и вязаная шаль была неспроста — тайным знаком была, вещественным паролем... А слепой, мнимый он или не мнимый, сам был шпионом. Английским.

«Постойте, — воскликнул я, — но раз шаль существовала в реальности и этот человек тоже, почему мы решили, что нереальна история с выпадающими из окон старухами? Не случилось ли здесь...»

«Коллективного самоубийства? — подхватил седобородый. — А что? Может быть!»

«Ну ладно!.. Чтобы выпрыгнули из окна одна за другой сразу шесть старух?» — недоверчиво спросил сомневающийся.

«Почему бы и нет?»

«Но для этого необходимо изучить милицейские архивы. Боюсь, это технически невыполнимо».

«Игра стоит свеч, — сказал в квадратных очках. — Если все окажется правдой, это будет означать, что мы вообще не так понимаем Хармса».

«Да уж, — сказал седобородый, — все, что мы считали абсурдом, окажется правдой».

«И наоборот», — сказал в квадратных очках.

Мне было интересно, как относился Хармс к Некрасову. «Так же, как Некрасов к Хармсу», — сказал в квадратных очках. «То есть никак», — пояснил мне сомневающийся, как если бы я был тупым и не понял, что сказал мне в квадратных очках. Это восхитительно, литературовед, не знающий хрестоматийного Хармса, будет меня учить, родился или умер Некрасов и были ли они современники с Хармсом!.. «В лучшем случае с иронией», — почтительно добавил седобородый.

В целом мне показалось, что специалисты по Некрасову знатоками Хармса были поверхностными.

С Даниила Ивановича они перепрыгнули на Самуила Яковлевича — вспомнили, что улица Некрасова прежде называлась улица Бассейная, и закономерно перешли к личности Человека Рассеянного с улицы Бассейной, но мне уже было не до маршак-ковских мотивов, я сказал: «Мне пора». Литературоведы, похоже, нацеливались сразу на фуршет и собирались прогулять сходбище с возложением, но теперь им было неловко не послушать, как я буду читать «Похороны» у памятника Некрасову, и они обещали прийти, хотя я и не приглашал их вовсе.

Я немного опаздывал, пришлось поспешить, восемьдесят грамм — доза смешная, но слишком быстрому шагу способствует плохо. Я запыхался.

Церемония уже началась.

Народу было человек двадцать пять — тридцать, на мой взгляд, порядком, кроме участников некрасовской конференции да еще нескольких бабушек от себя, было сколько-то от районной администрации — мероприятие явно шло в зачет не по одному ведомственному направлению. Цветы уже у ног поэта лежали, их до меня возложили, перед речами.

Когда я подошел, выступала чиновница в зимнем шерстяном берете и долгополом сером пальто; она говорила о том, как ценят Некрасова в этом поистине некрасовском

районе города. За плечом ее стоял ведущий в куртке и красном галстуке, кричащем об отсутствии шарфа. Вика меня сразу увидела, она подошла к ведущему, что-то ему сказала, он метнул взгляд в мою сторону, и мы друг другу кивнули. Теперь я мог спокойно ожидать своей очереди.

Все как обычно: микрофон, слово такому-то, слово другому. Бронзовый Некрасов к улице Некрасова стоял боком — почему-то он глядел на Греческий проспект, а не на улицу своего имени. Голые деревья торчали на расстоянии друг от друга — зимой это место мало похоже на сад. Было зябко, хотя и выше нуля, и мне подумалось, что мы пришли сюда, чтобы разделить с памятником его одиночество и неуют.

Чтобы не заскучать, я свой не слишком крепкий организм стал поощрять благодарственными мыслями: при зябкости такой и при такой продолжительности мероприятия мне самому становилось радостно, — насколько же он все-таки прав, когда не таит в себе желание выпить.

Наконец ведущий объявил меня, причем в очень лестных для меня выражениях. Я подошел к микрофону.

Мне когда случается читать эти «Похороны», ничего лишнего не говорю — никаких там предисловий, никакой отсебятины. Только название: «Похороны». А дальше — текст. В этот раз — не назвал автора даже. А зачем? Кто автор, поди, сами догадаться способны, чай, не Пушкина чествуем и не Маяковскому памятник.

Я могу эти «Похороны» читать хоть с конца до начала, хоть с середины в оба конца чересполосицей. Как угодно могу. Я столько раз читал эти «Похороны», что мне кажется, они будут последнее, что я в этой жизни забуду — уж во всяком случае, после таблицы умножения, впави я в маразм. Без разницы — с выражением ли, отработанным до автоматизма, или импровизируя по части эмоций, я могу, тормоша покорную мне аудиторию, менять в любых пределах яркость декламации этих душераздирающих «Похорон» и при этом думать о чем-нибудь своем, об отвлеченном.

Порой мне самому кажется, что это не я декламирую, а оно само произносится мною, как если бы я непроизвольно чесал себя за ухом, занятый своими проблемами, и даже не замечал этого.

Читаю медленно, не торопясь. На все у меня уходит пять минут сорок секунд.

Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.

Сегодня я позволил себе похулиганить: на этих начальных словах обвел рукой перед собой пространство «небогатого нашего села» — от серой громады в стиле модерн на улице Некрасова до казенного здания на Греческом проспекте; публика заулыбалась, а я теперь думаю, не потому ли меня дальше торкнуло, что я вот так невзначай обозначил личную причастность к событию?

Горе горькое...

Вот!

...По свету шлялося...

Вот же, вот — внимание!

И на нас невзначай набрело.

Там строкой выше ударение со сдвигом — на предлог *по*, а тут лексическое — на *нас*, разумеется. Горе горькое набрело... На нас, так на нас — я всегда это проскакиваю легко, но, вообще-то, есть проблемка с пониманием текста. То есть как это — «и на нас невзначай набрело»? А без этого, что ли, мы и горя не знали? В нашем-то селе? Ну, придет чужачок, ну, застрелится, как сейчас расскажу, — и это для нашего села Горюхина, или как там его, будет самое горькое горе? То-то мы без горя жили?

Всегда странным казалось. Но прежде эту странность я и воспринимал как некую данность. А тут задалось во мне это все — не вопросами — ощущением и ответилось на то же ощущением, что готов я поверить в непомерную горечь того горького горя. Нет, как актер — я и так верил; как актер я во что угодно способен поверить, иначе зрителя не убедишь, но сейчас во мне кто-то помимо актера готов был поверить — знаете ли, за спиной Станиславского — в то, что давеча я еще считал преувеличением. И это для меня стало новостью.

Короче, я всего им четыре первых строки прочел, а уже отметил краем сознания: как-то не так у меня на душе: не задалось оно с настроением как-то...

Позже, обдумывая природу моего эксцесса, из всех возможных причин я менее всего грешил на заблаговременно принятое. Не первый раз и не последний — и мне ли не знать своей персональной профессиональной нормы? Другое дело, вышеупомянутый широкий жест рукой касательно «небогатого нашего села», этот мах при всей его ироничности в самом деле мог мне триггером быть, переключателем самосознания — на личностное восприятие вот всего того и всего этого... А главная причина, полагаю сейчас, это зябкость была. Было зябко. Не морозно, не холодно — зябко. Петербургская наша зябкость, когда ошибиться одеждой легко, и мурашки бегут не по коже уже — по душе.

А тут еще надо было «ой» сказать.

Теперь шла рискованная строка с восклицанием «ой» — способным вызвать комический эффект, если произнести не с тем чувством. Помню, как десятиклассники захихикали, когда услышали из моих уст:

Ой, беда приключилась страшная!

С тех пор я это «ой» стал растягивать — «ооооооой» — скрипучим, как спросонья, голосом, словно мне в этот момент начинало вспоминаться что-то, о чем страшно не хотелось вспоминать. Это работало. И я как актер, конечно, всегда верил в эту беду, сообщая о ней с подобающей интонацией, но сейчас, здесь и сейчас, на этом месте, произнося это скрипучее «ооооооой», к своему, может быть, еще не ужасу, но изумлению, я опять почувствовал в себе помимо актера кого-то, кто слушал и слышал, как прежде я не умел, нечто жуткое, роковое — растворенное в здешнем воздухе и вместе с тем пугающе тяжелое. Беда была непомерной.

Мы такой не знали вовек...

И опять же, слова ничего не объясняли, наоборот, утаивали. Что-то непомерно страшное, причастное к ним, к словам, не раскрывалось ими, а, напротив, скрывалось — по крайней мере, для меня, всегда считавшего преувеличением «горе горькое» вот из-за этого:

Как у нас — голова бесшабашная —
Застрелился чужой человек!

У меня соседка, сорок два года, повесилась. На лестнице здоровались. Знал, как зовут. А это знание посильнее будет, чем у некрасовских селян об их «чужом человеке». Повесилась — мало хорошего. Я ей не судья. Приходил ее брат, спрашивал, не надо ли книги. Она книги читала, у нее были. Я взял две. Из вежливости. А может, и не из вежливости — хорошие книги. Я книгами не пренебрегаю. Даже сегодня. А может, не брат.

Скажем ли мы, дорогие жильцы нашего дома, об этой беде: «Мы такой не знали вовек»? Нет, конечно. Много бед на свете. И у всех болячки свои. А у тех дети в младенчестве умирали. Голод случался. Да мало ли что... А тут «горе горькое... на нас... набрело»: «застрелился чужой человек». Чужой!

Или я не понимаю чего-то? Пришел кто-то чужой, застрелился, и хуже того ничего мы не можем представить?

Далее, что называем «социалкой»:

Суд приехал... допросы...

И вдруг словечко:

тошнехонько!

И опять социалка:

Догадались деньжонок собрать:
Осмотрел его лекарь

И опять словечко:

скорехонько.

Вот на этой авангардной рифме во мне и проклюнулось. По-настоящему. Чувствую, ноги стали дрожать — прямо в коленях.

И велел где-нибудь закопать.

Это лекарь, значит, велел. А у самого — ком к горлу.

И пришлось нам нежданно-негаданно
Хоронить молодого стрелка,
Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...

Читаю, а у самого голос дрожит. Только этого не хватало, думаю. Э, думаю, не переигрывай... То есть как «думаю»? А значит, так думаю, что мое еще одно «я» себя обнаруживает, готовое на меня со стороны воздействовать. Это я-со-стороны мое мне говорит: «С ума сошел? А ну-ка, хорош переигрывать!» А я бы и рад, так оно само так получается — про «солнышко знойное», про лицо его «непробудно-спокойное»... про то, как в гробу он лежал под лучами-то солнышка знойного этого...

Да высокая рожь колыхалась,
Да пестрели в долине цветы...

И еще меня пугало, что это только началом было, я знал — вся жуть впереди. Пташка сядет на гроб, вот прямо сейчас, а потом мы все заплачем, завоем вместе с детками, а потом вопросы, вопросы пойдут безответные... Вот и птичка:

Птичка божья на гроб опускалася
И, чирикнув, летела в кусты.

Жуть, а не птичка! Меня уже трясет не по-детски, а мое я-со-стороны, эта хрень вырочалистая, мне установку дает: «Спокойно! Спокойно! Спокойно!» — и на воробьев отвлекает, и про урну напоминает, которую на углу видел, а ворона из нее, помню ли я, обертки жирные вытаскивала и по саду разбрасывала? А птичка божия голубь и сейчас, поди, на голове Некрасова сидит, подними-ка голову — весь памятник голубями обосран. Умеет оно, мое я-со-стороны, одновременно всякую хрень в точечном заряде сосредотачивать и стремительно разряжать его в моем подсознании ради моего же спасения. Или в сознании. Какая разница. Но не всегда. Не всегда получается. Забудь про птичку! Птичку проехали.

Поглядим: что ребят набирается!
Покрестились и подняли вой...

Вот оно. Вот оно. Чувствую, уже сам завывать готов — так оно меня забирает — и лишь утроением напряжения воли едва себя сдерживаю, чтобы не взвять...

Мать о сыне рекой разливается...

А я сдерживаюсь. Из последних сил.

Плачет муж по жене молодой...

Здесь не о конкретном случае, а вообще — как примеры того, как бывает: здесь про то, что им плакать судьбой велено... И то верно:

Как не плакать им? Диво велико ли?
Своему-то они хороши!

Ну, можно ли такое на человеческий язык перевести? «Своему-то они хороши...» Это покойнику своему — хороши, в общем случае — когда взрослые плачут, сами.

А по ком ребятишки захныкали,
Тот, наверно, был доброй души!

«Доброй души» у меня произнеслось высоким, срывающимся, почти не моим голосом. Слезы навернулись на глазах, нет, так лучше: кожей щек ощутил их — бегут, что у тех ребятишек, но про то, как он успокоился «под большими плакучими ивами», я все же сумел прочесть более-менее сдержанным голосом, хотя и дрожащим, сумел хоть как-то взять себя в руки, да только потом вопросы пошли те самые, и тут меня еще сильнее затрясло.

Что тебя доконало, сердешного?
Ты за что свою душу сгубил?

Я-со-стороны мое здравомыслящее, лучше меня самого меня знающее, поторопилось отвлечь меня Хармсом. Даниил Иванович, палочка ты моя выручалочка... Я-со-стороны, предохранитель мой и хранитель, хорош, говорит мне, страдать, тем более из-за одного какого-то несчастного, а как тебе шесть глупых старух, целых шесть безвестных старух, прыг, прыг из окон? Где-то здесь, где-то неподалеку... Ась? На улице Маяковского, где Хармс жил?.. Ну, не знаю, не знаю... Взгляд, мутный от влаги, устремил я, обернувшись через левое плечо, на Мальцевский рынок, недавно Некрасовский, предошущая спасительную коррекцию Хармсом, только Мальцевский рынок заслонял дом — Евангелической женской больницы корпус жилой... А вдруг из окна кто-нибудь выпадет?.. Строй переживаний моих уже было переключиться в другой регистр приготовился, более подходящий обстоятельствам выступления, как тут в моей актерской практике впервые случилось вторичное расслоение: еще один мой двойник обнаружился — я-со-стороны-другое. «Плачь, — оно мне велело, — плачь, если хочется, плачь!» А мне-то как раз не хотелось. По уму-то... совсем не хотелось... А по состоянию души... Ох...

Ты захожий, ты роду нездешнего...

«Захожий!» Господи... Слово-то какое... Все мы на этой земле захожие...

Но ты нашу сторонку любил...

Сторонку любил... Нашу сторонку любил... Жалость я такую почувствовал... ко всему на нашей сторонке... ко всему на земле этой существу... и к не совсем существу тоже... и к тому застрелившемуся... и к тем глупым старухам... шестерым... из окна вывалившимся... вследствие чрезмерного любопытства... до которых нет никому из нас горя... и к самому Хармсу, к Даниилу Ивановичу... сгинувшему в тюремной больнице блокадным дистрофиком... и к Некрасову, к Николаю Алексеевичу... как он умирал тяжело... пища «Последние песни»... и ко всем, кого обыграл он в карты... греша... греша и пища... и к памятнику, под которым стою, обосранному голубьями... и к этим, что стоят и слушают мои... то есть его «Похороны»... к этим, на которых смотреть не решаюсь... такой эксцесс... но знаю, что, как минимум, каждый четвертый, так же как я, плачет, плачет почти что навзрыд, ибо мне хорошо известна мощь моего актерского дара!

Только минут морозы упорные,
И весенних гостей налетит...

Опять, опять о птицах. О грачах, наверное... Я и обращался к вершинам деревьев... Но все же скользнул взглядом по публике... Трое из бара стояли... мгновения мне хватило запечатлеть их в памяти... У седобородого борода сдвинулась набок, в квадратных очках с открытым ртом меня слушал, а сомневающийся... тот просто — глазам и ушам не верил...

«Чу! — кричат наши детки проворные. —
Прошлогодний охотник палит!»

Про гром, кому не понятно, — детям он напоминал о роковом выстреле.

Ты ласкал их, гостинцу им нашивал,
Ты на спрос отвечать не скучал.
У тебя порошку я попрашивал,
И всегда ты нескучно давал.

И про порошок — рискованно. Мне самому детям — в смысле десятиклассникам — приходилось объяснять, что порошок здесь не то, о чем они подумали, а уменьшительное от «пороха»; дети не верили, смеялись... А чего смеяться-то? Он же охотник. Чего смешного? Он и застрелился с помощью порошка этого...

А как хорошо, как задушевно — со звукописью: «У тебя порошку я попрашивал...»

Почивай же, дружок! Память вечная!
Не жива ль твоя бедная мать?

Все! Глаза, не стесняясь, рукавом вытер (носового платка у меня при себе не было).

Или, может, зазноба сердечная
Будет таять, дружка поджидать?

Сказал:

— Простите.

И замолчал. Не мог больше, не мог.

Все молчали. И мне даже показалось (показалось только), что на улице Некрасова остановился транспорт.

Нельзя было долго молчать. Не минута же это молчания.

Я собрался. Мне так показалось. Я собрался продолжить. И тут же услышал тихий, жалобный вой.

Это я подвывал детишкам у гроба незнакомого самоубийцы.

И взрослым — убитым горем бабам и мужикам.

Горе было — ничье персонально, не чье-нибудь личное и точно уже — не мое. Но я понимал его — не мозгами — душой. Это было чистейшее, дистиллированное горе, ничем не замутненное, как боль червяка, насаженного на крючок. Оно было чужим, чужим и всеобщим, ничьим и моим, горе горькое, абсолютное горе, оно пришло.

Ноги меня не держали — согнулись в коленях. Я опустился на землю, на холодный грунт. Схватив голову руками, раскачивался и выл. Мое я-со-стороны-третье мне кричало во мне, что не надо стесняться, поздно крепиться, делай, что хочешь — вой и рыдай, вой и рыдай.

А другое мое я-со-стороны-не-знаю-какое-по-счету тихо вздыхало: ну вот... «скорую» вызовут... или милицию.

Но встал я не поэтому. Силы, меня покинувшие, внезапно — совершенно внезапно — вернулись. Я вскочил на ноги и только сейчас понял, что в эту минуту слабости не переставал декламировать. Что они поняли сквозь мои завывания и рыдания, трудно сказать, но по тексту должно было быть это:

Мы дойдем, повестим твою милую:
Может быть, и приедет любя,
И поплачет она над могилою,
И расскажем мы ей про тебя.

Сейчас, когда я снова стоял на ногах, голосу моему возвращалась твердость. Я снова овладевал собою. Да, я спешил — теперь без пауз — лишь бы скорее, скорее все это кончилось:

Почивай себе с миром, с любовью!
Почивай! Бог тебе судия,
Что обрызгал ты грешною кровию
Неповинные наши поля!
Кто дознает, какую кручиною
Надрывалось сердце твое
Перед вольной твоею кончиною,
Перед тем, как спустил ты ружье?..

Там было еще восемь строк, но я не стал дочитывать. Хватит. Отошел от микрофона, обогнул зрителей, встал сбоку от них по левую сторону. На них не смотрел, и они на меня, кажется, тоже. Аплодисментов не было.

— Друзья, — сказал ведущий, подойдя к микрофону, — трудно продолжать после такого выступления... но я должен пригласить... директора... музея...

Директор музея тоже начала с того, что трудно говорить после такого проникновенного выступления, но я уже ее не слушал. Отступил назад, спиной, спиной и в сторону. Повернулся и, обойдя их всех со спины, пошел скорехонько по саду — к выходу на улицу Некрасова. Мне казалось, я ухожу по-английски. Не совсем так: я уже выходил из Некрасовского сада, когда меня окликнула Виктория. Оглянулся. Она торопилась ко мне.

— Куда же вы? А это? — Протянула конверт.

Я быстро сложил его пополам и засунул в карман куртки.

— Знаете, — сказала Вика, — я потрясена... Никогда не слышала, чтобы...

Мне захотелось как-нибудь соврать, сказать, что у меня был трудный день, умерла любимая теща, завтра усыплять собаку... Но вместо этого сказал:

— Ненавижу, — и повторил, — ненавижу, ненавижу Некрасова.

Вика хотела, наверное, возразить, а может, согласиться — не знаю.

— Пять тысяч, — сказала она, — пять тысяч шли за гробом поэта.

Я молчал. Она напомнила про фуршет.

Повернулся и пошел прочь. Какой фуршет? Какой, к черту, фуршет? Один! И только один.

Сам и один — за всех отпетых и неотпетых.